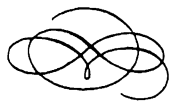
II

ПУШКИНОВЕДЕНИЕ



Л. Г. Фризман

*

Три элегии

Первое из стихотворений, о которых пойдет речь, написал Андре Шенье. Это «Элегия XXXV».

O nécessité dure! ô pesant esclavage!
O sort! Je dois donc voir, et dans mon plus bel âge,
Flotter mes jours, tissus de désirs et de pleurs,
Dans ce flux et reflux d'espoir et de douleurs!

Souvent, las d'être esclave et de boire la lie
De ce calice amer que l'on nomme la vie,
Las du mépris des sots qui suit la pauvereté,
Je regarde la tombe, asile souhaité;
Je souris à la mort volontaire et prochaine;
Je me prie, en pleurant, d'oser rompre ma chaîne;
Le fer libérateur qui percerait mon sein
Dejà frappe mes yeux et frémit sous ma main;
Et puis mon coeur s'écoute et s'ouvre à la faiblesse;
Mes parents, mes amis, l'avenir, ma jeunesse,
Mes écrits imparfaits; car, à ses propres yeux
L'homme sait se cacher d'un voile spécieux.
A quelque noir destin qu'elle soit asservie,
D'une étreinte invincible il embrasse la vie;
Et va chercher bien loin, plutôt que de mourir,
Quelque prétexte ami de vivre et de souffrir.
Il a souffert, il souffre: aveugle d'espérance,
Il se traîne au tombeau de souffrance en souffrance;

Et la mort, de nos maux ce remède si doux,
Lui semble un nouveau mal, le plus cruel de tous [1].

Шенье был поэтом, во многом опередившим свое время. Этим и объясняется значительный успех, который завоевало первое издание его стихов, выпущенное в 1819 г., через четверть века после того, как их автор склонил голову под нож гильотины. Он писал свои элегии вскоре после смерти Вольтера, когда были еще живы Дидро, Гольбах и Даламбер, а их выход в свет совпал по времени с поэтическими дебютами Ламартина, Гюго и де Виньи. И все же читатель уловил в этой книге нечто такое, что побуждало видеть в Андре Шенье едва ли не своего современника. Собрания его сочинений переиздавались вновь и вновь. Один из признанных вождей романтической критики Шарль Сент-Бёв утверждал, что именно Шенье «раскрывает свои объятия нашему веку и кажется старшим братом поэтов нового времени» [2]. А Анри де Латуш в своем предисловии к стихам Шенье называл их автора «вождем современной школы» [3].

Конечно, тот Шенье, который рисовался воображению читателей в третье десятилетие XIX в., не вполне соответствовал его действительному облику. Как все значительные поэты переходных эпох, он совмещал в своих произведениях и то, что роднило их с канонами отжившего века, и то, что принадлежало будущему.

Традиции классицизма явственно дают себя знать в элегиях Шенье. Отсюда и обилие в них античных имен и названий, и логичность, четкость, ясность, последовательность в развитии мысли, и соразмерность частей стихотворения, и стройный александрийский стих с цезурой после третьей стопы. Но есть в них и иное — то, что и было оценено читателями следующих поколений: необычайная эмоциональность, непосредственность и

[1] «О тяжелая необходимость! о тяжкое рабство! о судьба! Итак, мне суждено видеть, как уже в молодости дни мои, сотканные из желаний и слез, влачатся в этом приливе и отливе надежд и скорбей!

Часто, устав быть рабом и пить осадок из этой горькой чаши, которую называют жизнью, устав от презрения глупцов, что идет вслед за бедностью, я смотрю на могилу, этот желанный приют; я улыбаюсь добровольной и близкой смерти; плача я убеждаю себя отважиться и разорвать мою цепь; избавительный кинжал, который пронзит мою грудь, уже представляется моим глазам и дрожит под моей рукой; а потом мое сердце прислушивается к себе и поддается слабости: мои родные, мои друзья, будущее, моя молодость, мои несовершенные сочинения; ибо в собственных глазах человек умеет прятаться под покровом правдоподобия. Какой бы мрачной судьбе ни была подчинена его жизнь, он непобедимо охватывает ее и, избегая смерти, идет далеко искать какой-то дружеский предлог жить и страдать. Он страдал, он страдает: ослепленный надеждой, он влачится к могиле от страданья к страданью, и смерть, сладкое лекарство от наших бед, кажется ему новой бедой, самой жестокой из всех».

[2] *Ш. Сент-Бёв.* Литературные портреты. Критические очерки. М., 1970, стр. 68.

[3] *H. de Latouche.* Notice sur vie et les ouvrages d'André Chénier.— *A. Chénier.* Poésies. Paris, 1841, p. XII.

искренность в излиянии чувств, внимание к внутреннему миру человека, к сложности и противоречивости его душевных движений. В противовес присущей классику убежденности в исконной разумности мироустройства, в элегии Шенье врывается ощущение неблагополучия жизни, горькая скорбь о невозвратности утраченных надежд.

«Голос чистый, мелодичный, тонко разработанный; чело, отмеченное печатью благородства и грусти; талант, блещущий ослепительной юностью; порою — взор, отуманенный слезою, страстная нега во всей своей свежести и целомудрии; природа с ее родниками и тенистыми рощами; свирель из самшита, смычок из золота, лира из слоновой кости — словом, прекраснейшее в чистейшем его виде — таков Андре Шенье» [4],— писал Сент-Бёв. Можно спорить, охватывает ли эта характеристика всего Шенье, но то, что в ней уловлены предромантические тенденции его творчества, бесспорно.

Противоречивость облика Шенье, стоявшего на перепутье двух эпох, глубоко чувствовал Пушкин. Он спорил с романтиками, дорисовывавшими портрет Шенье по своему образу и подобию, доказывал им, что Шенье «из классиков классик» [5]. Вместе с тем, по тонкому наблюдению современного исследователя, «Пушкин обратил внимание как раз на то в творчестве французского поэта, что его самого привлекало в романтизме,— на умение передать своеобразие ушедшей в прошлое культуры, в данном случае — выразить мировосприятие древних» [6].

А спустя столетие О. Э. Мандельштам писал, что Шенье «нашел середину между классической и романтической манерой», что путь этого поэта был «уходом, почти бегством» от принципов своего времени, что «у Шенье уклон к совершенно светской элегии в духе романтиков», что в ней «течет свободно живая разговорная речь романтически мыслящего и чувствующего человека» [7].

Естественно, что в одних произведениях Шенье сильнее проявились те стороны его поэтического мироощущения, которые характеризуют его как «из классиков классика», в других — те, которые побудили романтиков видеть в нем своего «старшего брата». К числу последних вне сомнений принадлежит и «Элегия XXXV». Шатобриан, один из первых деятелей романтической эпохи стремившийся привлечь внимание к поэтическому наследию Шенье, привел в «Гении христианства» почти полный текст этой элегии и добавил, что, создавая ее, поэт предвосхитил свою

[4] *Ш. Сент-Бёв.* Указ. соч., стр. 67.
[5] *А. С. Пушкин.* Полное собрание сочинений, т. XIII. М.— Л., Изд-во АН СССР, 1937, стр. 102.
[6] *В. Шор.* Андре Шенье.— В кн.: «Писатели Франции». М., 1964, стр. 276.
[7] *О. Э. Мандельштам.* О поэзии. Сборник стихов. Л., «Academia», 1928, стр. 82, 80, 85, 86.

судьбу [8]. Ею восхищался Виктор Гюго, а Пти де Жюльвиль слышал в том же стихотворении голос Рене, «этого великого меланхолика, образы которого XIX век столь размножил в драмах и романах» [9].

И когда во второй половине 1820-х годов к переводам из Шенье обратился Баратынский, единственной элегией, на которую пал его выбор, была «O nécessité dure! ô pesant esclavage!» В переводе Баратынского, под заглавием «Под бурею судеб, унылый, часто я» элегия эта вошла в русскую поэзию и стала фактом истории нашей литературы. Конечно, это стихотворение можно считать переводом лишь с некоторыми оговорками. Создавая его, Баратынский стремился не только, а может быть, и не столько познакомить русского читателя с элегией французского поэта, сколько создать на ее основе свою собственную, выражающую его чувства, его философию, его отношение к жизни. Поэтому, переведя одни строки Шенье с поразительной точностью, он существенно изменил другие и вовсе исключил третьи. В целом стихотворение было сокращено более чем на треть: в оригинале — 24 стиха, а у Баратынского — лишь 14.

Что же в элегии Шенье оказалось созвучно Баратынскому и было сохранено в его переводе? Что в ней подверглось изменениям и почему? Чтобы ответить на эти вопросы, необходимо помнить, что́ представляла собою романтическая элегия, в каком направлении шла ее эволюция. Как известно, элегия, занимавшая весьма скромное место в классической жанровой иерархии, с наступлением романтизма стала главным, самым распространенным и влиятельным видом лирики. Она предоставила поэту-романтику неисчерпаемые возможности для художественного исследования глубин человеческой души, тонких, неясных, противоречивых явлений эмоционального мира. А главное, она выразила самые основы философии романтизма — безысходный, «космический» пессимизм, уныние и тоску, неверие в разум и в будущее, ощущение бесцельности жизни, «мировую скорбь».

Именно эти особенности романтической элегии предугадал Шенье своими стихами «O nécessité dure! ô pesant esclavage!», и это обеспечило им популярность у последующего поколения читателей. Жизнь безрадостна и безнадежна, она не сулит ничего, кроме боли, скорби и слез. Лишь смерть может избавить человека от тяжкого рабства, от неотвратимых ударов судьбы. Но и сам человек настолько слаб духом, что не способен взять у судьбы даже это избавление. Он обманывает себя, прячется

[8] *F.-R. Chateaubriand.* Oeuvres complètes, t. IX. Paris. 1831, 434—435. Отзыв, содержащийся в «Гении христианства», получил резонанс и за пределами Франции. Как позднее писал о Шенье Пушкин, «долго славу его составляло несколько слов, сказанных о нем Шатобрианом...» (*А. С. Пушкин.* Полное собрание сочинений, т. XI, стр. 35).

[9] Цит. по кн.: *А. Шенье.* Избранные произведения. Л., 1940, стр. 17.

от горькой истины за вуаль выдуманных утешений и тем делает свое положение еще безысходней: даже то, что могло бы избавить его от бед, кажется ему новой бедой, еще более тяжкой, чем прежние.

Мировосприятие, которое проявилось в этом стихотворении, было близко Баратынскому. Поэтому главный смысл, построение и стержневые образы элегии сохранены при переводе с высокой точностью и мастерством. Но и изменения, внесенные Баратынским, интересны и заслуживают внимания. Причины, вызвавшие эти изменения, были, по-видимому, многообразны. Когда переводчик избегал повторений, имевших место в стихотворении французского поэта, находил более лаконичные, иногда более сдержанные формы для выражения аналогичных мыслей и настроений. Так, стихи:

L'homme sait se cacher d'un voile spécieux.
A quelque noir destin qu'elle soit asservie,
D'une étreinte invincible il embrasse la vie,
Et va chercher bien loin, plutôt que de mourir,
Quelque prétexte ami de vivre et de souffrir.

обращаются у Баратынского в две скупые строки:

И далеко ищу, как жребий мой ни строг,
Я жить и бедствовать услужливый предлог.

Такие броские метафоры, как «mes jours, tissus de désirs et de pleurs», «ce flux et reflux d'espoir et de douleurs» не нашли места в стихах поэта, верного сформулированному им тезису: «Лирическая поэзия любит простоту выражений» [10].

Но есть и такие отличия перевода Баратынского от французского оригинала, которые вызваны стремлением более полно и разносторонне воплотить в стих философскую сущность романтической элегии. Порой оно реализовалось в иной постановке акцентов, в изменениях, которые могут показаться малозначительными, но в действительности они важны и показательны, потому что позволяют проследить, как менялось мироощущение человека романтической эпохи — от заглянувшего в завтрашний день предромантика Шенье до романтика Баратынского. Не может быть ничего более ошибочного и вредного, чем пытаться огрубить эту тенденцию, представить дело таким образом, будто Баратынский подошел к Шенье с собственным аршином и уложил его элегию в прокрустово ложе своего миросозерцания. Нет, он переводил Шенье, но в то же время создавал, как уже говорилось, собственное свое стихотворение и, подбирая русские слова для передачи мыслей французского поэта, отдавал предпочтение тем, которые соответствовали и его мыслям.

[10] *Е. А. Баратынский.* Стихотворения, поэмы, проза, письма. М., 1951, стр. 424.

В элегии Шенье, хотя и в небольшой мере, присутствует характерное для питомца рационалистической эпохи стремление обосновать свою скорбь, объяснить причины неудовлетворенности своей участью. Герой Шенье устал от презрения глупцов, порожденного бедностью. Для адепта романтизма эти аргументы лишь помеха. Ведь, по его убеждению, судьба всегда тяжка, бытие неправедно по самой сути своей. Если человек не беден, не окружен глупцами, у него не меньше оснований тяготиться жизнью и хотеть смерти. Ссылка на конкретную причину создавала иллюзию, что жизнь при каких-то иных, более благоприятных условиях может не быть источником горя и разочарований. Она как бы смягчала убежденность в исконности и неустранимости антиномий бытия. Потому романтики избегают подобной «аргументации» в своих элегиях. И упомянутая строка из элегии Шенье не нашла места в стихотворении Баратынского.

Шенье рисует образ человека, уже готового совершить самоубийство, но затем меняющего свое решение. Баратынский избирает иную, более обобщенную трактовку той же темы: стремление «отряхнуть» постылые цепи остается, но кинжал, готовый рассечь грудь, устраняется из элегии:

И цепи отряхнуть я сам себя молю,
Но вскоре мнимая решимость позабыта,
И томной слабости душа моя открыта.

«Под бурею судеб, унылый, часто я» — шедевр романтической элегии. Но когда создавалось это стихотворение, в русской элегической лирике шли уже поиски иных путей, иных художественных решений. Одним из первых и наиболее значительных итогов этих поисков явилась «Элегия» Пушкина («Безумных лет угасшее веселье»).

То, что отличает пушкинскую «Элегию» от стихотворения Баратынского, можно увидеть особенно отчетливо потому, что эти произведения во многом разительно сходны. Оба состоят из 14 строк с парной рифмовкой, причем двустишия с мужскими рифмами чередуются с двустишиями с женскими рифмами. И хотя шестистопный ямб в александрийском стихе Баратынского заменяется у Пушкина пятистопным, близость ритмических рисунков обоих стихотворений дает себя знать даже при самом поверхностном наблюдении.

Но главное, конечно, не в этом. Главное — смысловое построение стихотворений, развитие поэтической темы.

Сначала оба поэта говорят о безрадостности своего настоящего и будущего.

Баратынский:

Под бурею судеб, унылый, часто я,
Скучая тягостной неволей бытия,
Нести ярмо мое утрачивая силу,
Гляжу с отрадою на близкую могилу.

Пушкин:

Безумных лет угасшее веселье
Мне тяжело, как смутное похмелье...
Мой путь уныл. Сулит мне труд и горе
Грядущего волнуемое море.

Здесь сходны не только общее настроение, но и стержневые образы обеих элегий: «унылый... я» — «мой путь уныл»; «под бурею судеб» — «грядущего волнуемое море»; «тягостная неволя» — «мне тяжело».

Но оба поэта не хотят видеть избавлений от горькой участи в смерти.

Баратынский:

Но вскоре мнимая решимость позабыта...
Страшна могила мне...

Пушкин:

Но не хочу, о други, умирать.

Баратынский:

И далеко ищу, как жребий мой ни строг,
Я жить и бедствовать услужливый предлог.

Пушкин:

Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать.

Есть общее и в том, что́ влечет их к жизни. Баратынскому сулят радость «обещания в груди сокрытой Музы». Новые творческие свершения видятся и Пушкину:

Порой опять гармонией упьюсь,
Над вымыслом слезами обольюсь

Трудно сказать определенно, думал ли Пушкин о недавно прочитанном им в «Северных цветах» стихотворении Баратынского в тот сентябрьский день, когда писал в Болдине свою «Элегию». Это вполне вероятно. 1828—1830 гг. — период наибольшего сближения обоих поэтов: в 1828 г. вышли в свет одной книгой их поэмы — «Бал» и «Граф Нулин». Вскоре после этого Пушкин написал свою статью о «Бале» а осенью 1830 г. примерно тогда же, когда создавалась «Элегия»,— статью «Баратынский». Не подлежит сомнению, что творчество «поэта мысли» было в ту пору постоянным предметом пушкинских раздумий. Но даже если допустить, что сходство в построении, в развитии поэтической темы обеих элегий не было обусловлено творческим замыслом и возникло непроизвольно, оно заслуживает нашего внимания, потому что позволяет увидеть и оценить тот шаг вперед, который знаменовала собою пушкинская элегия в сравнении с элегией Баратынского.

«Безумных лет угасшее веселье» — одно из ключевых стихотворений в лирике Пушкина. Как убедительно показал Д. Д. Благой, в нем следует видеть завершение лирического цикла, создаваемого поэтом на протяжении нескольких лет [11]. Правильно понять эту элегию можно, лишь рассматривая ее в связи с стихами, которые ей предшествовали.

Дар напрасный, дар случайный,
Жизнь, зачем ты мне дана?

В этих строках звучит, казалось бы, столь знакомый романтический ропот о бренности жизни, жалоба на неправедность ее устоев, на бесцельность и тщету человеческих стремлений. Но читаем дальше:

Иль зачем судьбою тайной
Ты на казнь осуждена?

Какая «бездна пространства» в этом коротком слове «иль»! В нем сомнение: а может быть, все не так, может быть, жизнь не напрасный, случайный дар, а трагично другое — что тайная судьба осудила ее на казнь?

Романтическая элегия развивала мысль, в основном известную наперед и ее автору, и читателю. В ней изливались чувства, знакомые по другим элегиям, на новом материале новыми тонами аранжировались те же идеи. «Тебе не нужно объяснять мне того чувства, которое произвели эти стихи»,— писал автор одной такой элегии ее читателю [12], и он был прав.

Но иной была пушкинская элегия. Ее пафос — жажда познания. Она пронизана убеждением, что жизнь таит в себе неизвестное, и бесконечно, бессмертно стремление человеческого духа проникнуть в непознанное, открыть его, овладеть им. Именно эту особенность творческого облика Пушкина характеризовал Белинский, когда писал: «...В мир пушкинской поэзии нельзя входить с готовыми идейками, как в мир рефлектированной поэзии» [13]. То, что в «рефлектированной поэзии» стало «готовыми идейками», было когда-то большими идеями, воплотившими наиболее значительные устремления своего времени. Но пушкинская поэзия не могла удовлетвориться ими. Пушкина влекло не провозглашение «готовых» идей, а анализ жизненных явлений, процессов и характеров. Вот где корни отличий стихотворения «Безумных лет угасшее веселье» от романтических элегий, даже самых значительных и своеобразных, отличий, которые, может

[11] См.: *Д. Д. Благой.* Трагедия и ее разрешение. (Об одном цикле лирики Пушкина).—«Вопросы литературы», 1957, № 1, стр. 142—143; *он же.* Творческий путь Пушкина (1826—1830). М., 1967, стр. 482—489.

[12] *В. А. Жуковский.* Письмо к А. И. Тургеневу (1821). Цит. по кн.: *В. А. Жуковский.* Стихотворения, т. I. Л., 1939, стр. 383.

[13] *В. Г. Белинский.* Полное собрание сочинений, т. XI. М., Изд-во АН СССР, 1956, стр. 482.

быть, особенно явственно видны при его сопоставлении со стихами «Под бурею судеб, унылый, часто я».

Основная, определяющая черта лирического героя элегии Баратынского — это его слабость, душевная усталость, неспособность противостоять «буре судеб». Слабость побуждает его желать смерти («нести ярмо мое утрачивая силу...»), слабость удерживает и от того, чтобы «отряхнуть» с себя цепи. Как и герой «Признания», он не властен в самом себе.

В 1821 г. в стихотворении «Дельвигу» Баратынский писал:

Нужды непреклонной слепые рабы,
Рабы самовластного рока!
Земным ощущеньям насильственно нас
Случайная жизнь покоряет.

А в 1828 г., переводя элегию Шенье, он вновь создал образ человека, покоренного самовластием жизни. Его слабость более чем черта индивидуального облика, она прямым образом связана с романтической идеей всесилия судьбины, извечно торжествующей над помыслами и устремлениями человека.

Безысходность, тяжкая тоска пронизывают первые шесть стихов пушкинской элегии. Но вместо ожидаемого смирения, покорности перед своей участью звучат совсем иные слова, исполненные силы, выражающие протест против уготованной и, казалось бы, неизбежной участи.

Но не хочу, о други, умирать;
Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать.

Да, грядущее сулит «труд и горе», «заботы и треволненья», «закат печальный». Но жизнь не исчерпывается только горестями, она богаче и многообразнее. И тяжесть ее может и хочет снести тот, кому доступна радость познания.

Когда Пушкин говорит «мне будут наслажденья», он имеет в виду прежде всего то чувство, которое доставляет человеку возможность узнать и изведать новое, незнакомое, неиспытанное. В отрывке «О нет, мне жизнь не надоела», который, как справедливо отметил Д. Д. Благой, «схож и по своим мотивам и даже по некоторым совпадающим выражениям с «Элегией»[14], читаем:

Еще хранятся наслажденья
Для любопытства моего,
Для милых снов воображенья...

«Наслажденья», о которых говорится в «Элегии»,— наслажденья «для любопытства» — для жажды познания и для «снов воображенья» — для стремления к творчеству. Это счастье, которое доставляют упоение гармонией и слезы, окропляющие поэти

[14] См.: *Д. Д. Благой.* Творческий путь Пушкина, стр. 486.

ческий вымысел. Это и «чувство... всего» — любовь, обещающая прощальной улыбкой скрасить печаль «заката».

Что побуждало Шенье отвратить от своей груди «сладостный кинжал»? Что привлекало его в жизни? «Mes parents, mes amis, l'avenir, ma jeunesse, mes écrits imparfaits...» Баратынский в точности сохраняет этот перечень:

...и ближние, друзья,
Мое грядущее, и молодость моя,
И обещания в груди сокрытой Музы.

Иначе поступает Пушкин. Исключается упоминание о молодости: напротив, он ждет радости на закате дней. Не говорит он о ближних, о друзьях. Зато наслажденье, которое сулят новые творческие создания, новые чувства, выступает на первый план.

Сопоставление трех элегий — Шенье, Баратынского и Пушкина — позволяет видеть нечто более важное и значительное, чем только отличия в творческой манере каждого из этих поэтов. Перед нами три этапа эволюции мироощущения, разные взгляды на жизнь и человеческую судьбу.

Шенье, прозорливо уловивший веяния грядущего века, откликнулся на них стихотворением, которое продолжало волновать сердца и спустя десятилетия после смерти автора. Баратынский, переживший расцвет романтизма, довел до совершенства поэтическое выражение идей, вдохновлявших Шенье, придал им бóльшую последовательность и законченность. Пушкин, элегическая лирика которого знаменовала переход от романтизма к реализму, обратившись к близкой теме, вышел своим стихотворением за рамки «готовых» идей, удовлетворявших его предшественников. Безысходной скорби романтиков он противопоставил трудный, но сулящий радости путь познания, поисков и свершений.

Е. А. Маймин

*

О субъективном начале в романтической лирике Пушкина

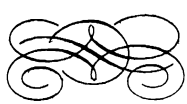
Романтическая лирика Пушкина хронологически относится к тому же периоду, что и его романтические поэмы: в основном к первой половине 20-х годов, к периоду южной ссылки. Однако общность романтической лирики Пушкина с романтическими поэмами не только во времени их создания. Она проявляется так-

Академия наук СССР

Институт мировой литературы
им. А. М. Горького

ИСКУССТВО СЛОВА

СБОРНИК СТАТЕЙ
К 80-ЛЕТИЮ
ЧЛЕНА-КОРРЕСПОНДЕНТА АН СССР
ДИМИТРИЯ ДИМИТРИЕВИЧА
БЛАГОГО



Издательство «Наука»
Москва 1973